PG3476
.N54
O 25
1926

ЦЕНА 10 КОП.

Н. НИКИТИН

ЮБИЛЕЙ

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА

№ БЕГЕМОТ 23

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00010304039

НИКОЛАЙ НИКИТИН

ee
C PG3476
.N54
025
1926

ОБОЯНЬСКИЕ ПОВЕСТИ

ЮБИЛЕЙ

OBOIAN'SKIE POVESTI IUBILEI

ВЕСЕЛАЯ БИБЛИОТЕКА
„БЕГЕМОТА"
Изд-во „Красная Газета"
Ленинград—1926

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA
PROPERTY OF
LIBRARY
AT CHAPEL HILL

ТИПОГРАФИЯ
„КРАСНОЙ ГАЗЕТЫ"
имени Володарского,
Ленинград Фонтанка, 57.

Ленинградский Гублит № 19509. Заказ № 5339. Тираж 20.000 экз.

Кто мне может запретить, по какому паршивому поводу должен я привязать свой язык и замкнуться, точно я в самом деле сарай какой или амбар для хранения, или какая-либо багажная контора для склада всякой дряни. Я знаю, все равно мне в этом городе больше не жить, все равно карьера моя погибла. И даже больше— все какие ни на есть здешние привлекательные особы нечеловеческого пола, прочитав в клубе сей мой беллетристический опыт, плюнут также мне в физиономию, — пускай...

Ладно, я готов пострадать! И пострадаю! И даже в Москву могу уехать, и даже поселюсь там хоть между дверьми, а позиции своей не оставлю. Пускай пропадает и государственная служба, и чудный мой домишко, и яблоньки, и даже пускай сожрет червь забвения ту липовую скамейку перед моим палисадом, где я проводил в мечтах, в нечеловеческих восторгах обояньские летние ночи. Пускай пропадает моя голова!

* * *

Что ночи... А понятно ли вам, что такое летний день в Обояни? Нет, вижу я — много вы знаете, много видали в театрах, пароходы страшеннейших размеров, заграничных голых финтифлюшек, которые чорт знает что могут сделать с человеком, заносчивый Лондон, где, можно сказать, самый бедный мужик выезжает пахать, надев манжетки и черный суконный котелок, может быть даже вы подымались на летательной машине и плевали сверху на собор парижской дамы, где отличалась некогда сама Эсмеральда. И все-таки все это — пустой плод попавшей в культурные тиски русской души. Россия, — я готов заложить свою душу на любую сумму, — предпочитает все-таки природу. Россия — страна природная, ей всякие искусственные фокусы не к лицу, она какими-нибудь австрийскими граблями и грабить-то не умеет... Так что-ж, вы говорите, что вам понятен летний обояньский день.

Плещет он, этот жаркий, собачий день, как богатые колокола, с колоколен гремит праздничный звон, во всю работает на колокольнях Семен Матвеич Пискаренко, — во весь набор — от колоколишек до колоколищ, до самого грандиозного многопудовика, висящего будто медный черкасский бык, будто старый зажившийся на этом чудном свете, заевшийся купец Балагин, который еще за десять лет до смерти только и мог выговаривать одно слово, да и то в самые

торжественные минуты, вроде смерти обоянского исправника, или, например, всеобщего городского пожара в 1917 году, но уж зато слово это гудело и брякало так, что купеческий кот, привыкший и не к таким передрягам, в ужасе зажимал уши и опрометью бросался из горниц куда попало, хоть под самый паровоз. И это слово было: инда-с...

Так выговаривал этот колоколище, а прочие колокола, колоколишки, колоколята подпевали ему будто попадьи, прогорелые чиновники, надзиратели, загулявшие купеческие дворники, веселые девчата, вплоть до озорных гольцов. Вот какой был нечеловеческий набор! Бывало в светлую заутреню вся эта орава такой подымет содом, такие станет откалывать непристойности, что поп, забыв святое место, тихонько, благо не видать под рясой, пританцовывает у алтаря гопак и даже не собьется с такта. А сам звонарь — артист своего дела` Семен Матвеич Пискаренко—шатается, как пьяный, от усталости или от восторга — никто понять не мог, и лепечет едва-едва: „дондеже, дондеже есмь... дондеже ни пити ни сикира, ни вина... дондеже ни ясти есмь...“

И сваливается, будто мертвый, во всякие неаккуратности, что скапливаются кучами от голубей.

А внизу на улицах гуляет народ. Площадь подметена, словно вылизали ее жадные свиньи.

На каланче манерно, как невинная барышня, трепещет государственный флаг. Публика ожидает парада. Продавцы с грушевым квасом, завернув передники к поясу, еле успевают отпускать пузатые стаканчики. А мальчишки под самым носом у продавцов прямо с лотков крадут моченые груши, даже не сказав запыхавшемуся торговцу „спасибо". Ведут в участок пьяных. И один непременно кобенится, вспомнив родственников, непременно хочется ткнуться в пыль, — что вот, дескать, посмотрите, дорогие граждане, что делают с праздничным человеком, у которого, мол, только и греха, что он не тверд в счете... Хохочут, глядя на него, вздорные женщины, готовые всегда надсмеяться над ошибками сильного пола. И напрасно, совсем напрасно смеются. Кто трепался на мучительных фронтах, проливая свою драгоценную кровь, и ее глотали опьяневшие сизые вороны? Мужчины. Так разве это достойно насмешки? Над этим надо плакать. Простить и подойти с ласкою, а ежели уж и прижучить, так так прижучить, как вон та почтенная бабочка в шелковой черной кружевной косынке. Нет сомнения, на глазах у публики она раза два хлестнула достойного супруга по щекам... Но ведь только и всего! А кто его ведет, кто оберегает его от тумб, кто отгоняет от него собак, которые рады полаять на пьяного человека и, может быть, даже с восторгом ухватят его за

какую-нибудь нежную часть... А он не знает, куда ему сунуться, он слаб, и штаны у него нечистые, и на бороде висит рыбья кость: он жалче самого тихого младенца. Так кому же, как не почтенной бабочке, оберечь его от суровой жизни, кому же, как не ей, выговорить ему: „Ярыжка, пьяница. Питы не умеешь, сукин сын, та не пив бы... злодий!"

А кругом гольцы такие высвистывают концерты на глиняных свистульках, ерошатся радужные петухи, греют свиньи у канав пушистое брюхо. Так вот что такое летний праздничный день в Обояни. Вот что такое милая моя Россия. Нет, я не продам тебя ни за какой фокус, ни даже за летательную машину, ни тем более за австрийскую граблю.

* *
*

Взять к примеру того же Онисима Петровича Миликина — первого обояньского парикмахера, обученного всем парижским и венским приемам, а и тот разве предпочтет свое русское заграничным штучкам. Да никогда!

Сегодня, в праздничный летний день, стоит Онисим Петрович на ступеньках своего заведения и радостно разглядывает происходящее. Все-то ему приятно: и стрижи, и мальчишки, и припудренные ради праздника дамочки.

— Господи,— думает он,— доведись мне быть богатым, нанял бы я мастеров. И причесал бы,

и постриг бы всех православных христиан. Пущай бы все ходили аккуратно.

И так это он размечтался: как бы они все ходили спрыснутые одеколоном и с подпудренными подбородками и прическа у всех по московскому сделана, а не каким-нибудь паршивым немецким ершиком или легкомысленным парижским капулем,— так распалился в необузданной своей фантазии, что совсем не заметил, как подошел к заведению Филимон Филимонович Пушкин и в недоумении остановился перед лестницей.

— Чего вы это,— сказал Филимон Филимонович, тоже взглядывая на небо,— разве аэроплан летит? Откуда бы у нас быть аэроплану?

— Разве аэроплан? Значится, опять будут деньги собирать на воздушный флот,— откликнулся в испуге Онисим Петрович, будто аэроплан действительно спустился ему на самый кончик носа.— Нет, Филимом Филимоныч, никакого аэроплана нет, я просто мечтаю о невозможном!

— Республика должна работать, а мечтают о невозможном пущай буржуазные классы.

— Я не буржуазный класс, простите... Что за намек, Филимон Филимоныч?

— Ну, кустарный, это — одно и то же, почтеннейший Онисим Петрович! Можно?— сказал Филимон Филимоныч, подымаясь по ступенькам и намереваясь протиснуться в дверь.

— Ах, вы ко мне! — приятно раскланявшись, ответил парикмахер Миликин и, распахнув дверь перед посетителем настежь, протяжно крикнул вслед: „Ма-гаа-зин!“

Из-под пестрой ситцевой занавески вынырнул мальчишка с рыжими, потными, прилипающими ко лбу космами, будто он только-что вылез из воды, и принял из рук Филимона Филимоновича сиявшую, как июльское солнце в полдень, пожарную каску и перед тем, как положить ее на полочку для шляп, с любопытством сам заглянул в нее, точно в самовар, и, удивившись, облизнулся и весело показал самому себе язык.

— Балло-вать... заорал на него Миликин и, отодвинув кресло, круглым жестом пригласил Филимона Филимоновича сесть, и еще суровей, как взводный, обучающий молодого новобранца, закричал:

— Воды!

И взбивая в металлической чашечке голубую мыльную пену, любезно обращаясь к Пушкину, продолжал начатый еще на улице разговор.

— Ужасно порченый нонче народ! А ведь я, признаться, и не узнал, когда вы подошли в таком сияющем блеске, будто бывший царский кавалергард.

Конторщик Пушкин — служащий „Красного Транспорта“ и старший топорник обояньской добровольной дружины — весь расплылся от удовольствия, как мыльная пена у него на щеках,

но виду не показал. С виду он был серьезен и строг, и даже горестно вздохнул:

— Что делать, дражайший Онисим Петрович! Хочешь — не хочешь, а терпи...

— Да что вы-с?... удивился Миликин.

— А как же? Возьмите, например, хотя бы нашего некоего Прыгункова, заведующего то-есть нашей конторой. Намедни мне говорит: «Что это, говорит, товарищ Пушкин, все вы опаздываете; то у вас тревога, то у вас примерное ученье, то форму новую примеряете. Это, говорит, не служба: или, говорит, вы — конторщик „Красного Транспорта", или — пожарный»...

— Скажите!... Неужели именно так? — опять удивляется из вежливости Миликин, размазывая снежные теплые груды на пушкинском подбородке.

— Представьте себе — так! Как пораздумаешься эдак, так и возьмет сомненье: да стоит ли тратить здоровье для такого отсталого элемента?

— И верно,—не стоит! — поддакнул Миликин, оттачивая на ремне бритву.

— Вас как прикажете брить? Одну бороду?

— Нет, брейте все! — гордо сказал Пушкин,— хочу сбриться на-голо.

— Неужели?... А ваши пушистые усы?

— Пущай они пушистые,— строго посмотрел Пушкин на Миликина, — не хочу тащиться

в хвосте: усы — самый огнеопасный материал. Посмотрите за границей...

— Ну, заграница нам не указ.

— Как не указ! Там в каждом квартале собственная пожарная часть и все на жаловании, и даже на очень приличном. Что вы говорите!

— Это, конечно, так, в этом я не спорю с вами,— согласился Миликин, принимаясь брить и прислушиваясь к тому, как скребет бритва пушкинскую кожу,— но не все заграничное есть еще пример для нас. Возьмите вы хотя бы австрияков. Грязнули! Или хотя бы тех же самых лондончан. Говорил мне один приятель. Парикмахеры ихние бреют как? А так: мыло мажут не по совершенному способу кисточкой, а некультурно мажут клиента собственными пальцами.

— Но какими пальцами, Онисим Петрович,— ехидно сказал Пушкин и так посмотрел на руки Миликину, что Миликин, сконфузившись, вдруг спрятал руки под халат и, будто имея спешную надобность, выскочил из магазина под занавеску. И, выбравшись оттуда, принялся опять ругать мальчишку.

— Удивительный народ! Бритва не беспокоит? Вот вы все обожаете заграницу, значит, вы — за капитализм...

— Я?.. закричал Пушкин.

— Тише, не разговаривайте, а то-с могу сейчас вас зарезать,— спокойно сказал Миликин.— Конечно, пять лет пожарной нашей дружины —

очень большой факт, но разве отсюда следует что у иностранцев пожарное дело лучше. Никак не следует. Возьмите вы простое дело. Купил недавно Прокоп Матвеич японскую свинью...

— Какой Прокоп Матвеич?... глотая мыло, не удержался, чтобы не спросить Пушкин.

— Да лавочник Прокоп Матвеич Пуговка; ну, тот, что торгует галантереей и губками под кремлевской стеной. Он, изволите видеть,— большой любитель свиней. Можно сказать, пуговкины свиньи — первые свиньи в городе. Он даже финагенту прямо в глаза отмочил: Вы, говорит, можете всей торговли меня лишить, дочку взять в живые заложницы, но свинюшек своих тронуть я не позволю, вы прежде перешагнете через мой бездыханный труп. Так и не отдал. В отделе народного образования был. И там, значит, признали пуговкиных свиней показательными научными свиньями. Отстоял. Так вот, представьте, этот человек семь лет революции мучился. Дайте, говорит, мне японскую злую свинью. Со многими столичными городами списывался. И добился-таки своего. Ну, и что-ж?... Смотрели мы недавно эту свинью. Свинья, как свинья, росточек маленький, масть пестрая, хвосток — с холерный вибрион. А злости необыкновенной, будто она крокодил, а не свинья. К чему же было мучиться?

— И все-таки эту свинью я предпочитаю,— сказал Пушкин, выковыривая из носу мыло.

— А чем, позвольте вас спросить, чем,— кричал Миликин, в ярости взмахивая бритвой,— только и есть, что она поросится чаще нашей, русской.

— Вот именно,— ответил Пушкин, не пугаясь,— вот именно за это я и предпочитаю эту японскую свинюшку.

— Смотрите, плохо вам будет,— с сожалением ответил Миликин, схватив Пушкина за нос и работая над верхней пушкинской губой,— не все то золото, что блестит! Одеколону можно?

— Чего? — лукаво переспросил Пушкин, опасливо взглядывая на вывешенную у зеркала таксу, и найдя там: „Одеколон — 15 коп.", подумал: ну, была — не была!

— Одеколончику, говорю, прикажете облегчить?— спросил вежливо Миликин, подумав про себя: эх, сволочь, пятнадцать копеек ему жалко!

— Да, пожалуйста, — равнодушно сказал Пушкин,— я без этого не могу, мне без одеколону и бритье не в бритье. Между прочим, будет и у нас время, когда приедет, допустим, мужичек на мотоциклетке, а одеколон ему — бесплатно.

— Может быть, Филимон Филимонович,— согласился из вежливости Миликин, подумав все-таки: ну, и дурак же ты стоеросовый! И закричал:

— Мальчик, магазин!

Рыжий мальчишка, точно на пожар, подхватил с вешалки каску.

Миликин отставил кресло. Пушкин, встав, полюбовался на себя в зеркало, потрогал за нос.

— Удивительно, Онисим Петрович, — сказал он, — в бритом виде замечательно культурно выделяется нос!

— У каждого свой вкус! — ответил Миликин.

И опять зашипел на мальчишку, начавшего какие-то манипуляции с пушкинской каской: „Баллуй, стерва!"

— А какая же у вас нонче программа? — спросил Миликин.

— В три — парад. Вечером — в клубе революционная декламация, балет „Фантазия" и ужин с танцами и пивом. А как вы думаете, Онисим Петрович, к штатскому бритый вид пойдет? На ужин-то я собираюсь в штатском, хочу сегодня щегольнуть. Я, признаться, люблю немножко и того, и этого... У меня даже заказан воротничек типа дубль-георг.

— Что это за дубль-георг?

— Как, и этого вы не знаете, Онисим Петрович? Да что же вы тогда знаете? Типа дубль-георг означает — двойной отложной, по имени английского короля.

— Не знаю, не знаю-с, Филимон Филимонович!

— Да вы, я вижу, совсем ретроград, — пренебрежительно сказал Пушкин, примеряя перед

зеркалом свою каску. — А я намедни еще собрался и печатью заняться, соблазняют меня в провинциальные рабкоры для столичной печати. Да и как не пойти! Шестая держава, ну, как тут спорить...

— Вам виднее, Филимон Филимоныч. Мальчик, — дверь!

Мальчишка стоял, зацепившись за дверь, как рыжий таракан, поднявшийся на задние лапы. Миликин кинул на руки мальчишке грязную простыню и низко поклонился вслед Пушкину: „Счастливого успеха!“ А Пушкин вышел из распахнутой двери, точно Александр Македонский, и петухи, ослепленные его сверканием, задирая кверху радужную шею, скликали ленивых кур. И по дороге Пушкин часто разглаживал подбородок и радовался его гладкости, трогал себя за нос и думал о том, как другой несознательный человек всю свою жизнь угробил бы в какие-нибудь паршивые свинюшки, или даже, допустим, в лавченку, или хотя и прокорпел бы целый век, не разгибаясь, над бухгалтерской книгою, а о согражданах и не подумал бы. И ведь вот и он, Филимон Филимонович Пушкин, мог бы так прожить мелкой, невзыскательной жизнью около Агапии Павловны, мог заняться каким-нибудь огородом, овощами и не выслушивать каждодневных упреков своей супруги; ан нет, — он выше, он превосходнее, он вынесет свою судьбу, он

будет терпелив и дойдет потихоньку до какого нибудь блистательного порога. И вот уж тогда станут все удивляться, и поздравлять, и завидовать. И уж тогда, конечно, дорогая, близорукая супружница не станет говорить, как говаривает она нынче: „И что это ты, Филимон, за хлюст? Как со службы, так и хвост трубой. Дела? Разве грошей твои дела тебе прибавят? Все люди стараются в дом тащить. А у нас дела — псу под хвост“...

Тем временем на площади скапливался народ. По мосткам — не пройти. Около городского совета — волнение. Пожарный под медным колоколом разгонял любопытную толпу. Пушкин так строго прикладывал руку к козырьку каски, раскланиваясь со знакомыми, будто он сейчас отправляется на смертный бой. И, заметив в толпе любопытных своего заведующего Прыгункова, нарочно прошел мимо, будто его не узнав. Тут от сразу почувствовал себя выше на голову всей этой собравшейся толпы, и Прыгункова, и Агапии Павловны, и с чувством гордости и превосходства, не покидавшими его в течение целого дня, он вошел в пожарный двор, где ругался последними словами на конюхов товарищ Буревой — начальник пожарной команды.

— Если вы, сукиновы дети, порвете мне во время параду постромки, я-т вас, я-т с вами... предам суду... я-т...

— Правильно, — подумал Пушкин, — крой их! То ли еще бывает в буржуазном Нью-Йорке. Электрического стула хотят!

А Буревой носился по всему двору, кричал на обоз, тыкал лошадей под морды, пробовал упряжку, плевался, как раскипевшаяся пожарная машина. И довертелся так до того, что вдруг, скинув брезентовую тужурку, встал раком к забору и закричал трубникам:

— Гей, трубники! Полей меня из брандсбоя. Гей! Полундра, качай!

До начала парада осталось десять минут.

*
* *

Ровно в три часа председатель Совета Перепелкин махнул белым платком пожарному, стоявшему под зеленым колоколом у каланчи. Дежурный покраснел от удовольствия, кинулся к колоколу, будто за утопленником, и поднял трезвон. Публика затаила дыхание. Женщины вдруг неожиданно смолкли, что совсем им несвойственно, и даже сами как будто удивились этому; девчата сложили руки на груди, будто боялись, что бедное сердечко, не выдержав торжественного громыхающего выезда команды, вспорхнет, как с навозу испуганный воробей, и они попадают без чувств; даже мальчишки — неугомонные стрижи — попрятались в пыль, а некоторые, заробев, схватились за отцовские

шаровары или — что уж совсем стыдно — прижались к мамкиной юбке. Пожарный растворил ворота, и в тишине на площади, в народе, в солнце, пролетела одинокая черная ласточка, скосив острый нос, и сразу, почуяв под собою что-то необычайное, вдруг взвилась веером, обрезая воздух, как масло острый нож. Испугавшись тишины, заревел чей-то младенец, но толпа, точно хитрый зверь, выпустив когти, зашикала, и младенцу зажали рот. Ежели бы у человека вместо глаз был штопор, то сотни штопоров всверлились бы в ворота, и ежели бы их предусмотрительно не открыли, эти самые штопора немедленно вдребезги продырявили бы их. Все ожидали, как сейчас загремят великолепные звонки и, блистая кранами, медью, касками, треща колесами, подпрыгивающими бочками, с треплющимся в буйном порыве флагом, с неистовым рожком трубача, лошади, в храпе закусывая удила на вспененных губах, задрав острые морды под натянутыми, как пружина, возжами, вынесут на ошеломленную толпу пожарный обоз. И вместо этого великолепия вдруг стремительно, как пожарная тройка, выскочил из ворот Буревой, без тужурки, в мокрых брезентовых штанах и налетел на дежурного.

— Сукиновы дети, кто тебе приказал, я-т...

— Я-т... товарищ Буревой... с Совету, платком махнувши, Перепелкин...

— Перепелкин, Перепелкин... я-т... кто у вас начальник... я-т... Перепелкин, сукиновы дети, отвечай!

— Так-что...

— Так-что, сукиновы дети, шлей заправить не могли. Это вам не Перепелкин, а выезжать, так Перепелкин... я-т... Давай отбой!

— Так-что...

— Так-что бегай к Куценкам и забери три штуки шлей, и ежели они, сукиновы дети, сволочь паршивая, кобениться будут, наклади дядьке Куценке в морду и отними силой, да ежели будет много визжать, позови милицию и скажи, что ежели трех не даст, больше, мол, заберу. Тикай!—закричал Буревой и замахнулся на пожарного кулаком.

Пожарный побежал, придерживая на бегу каску, сползавшую на глаза, как бабья крынка. Обеспокоенный Перепелкин сошел с крыльца от Совета и медленными шагами пересекал пустынную пыльную площадь. В толпе зашептались, девчата свободно вздохнули и мальчики с любопытством следили за бежавшим в противоположную сторону пожарным. А пожарному бежать было стыдно, он чувствовал, как следит за ним площадь, и на бегу думал — как бы, дескать, ему не осрамиться, чтобы не сказали потом добрые люди: „И чему только учили тебя, Паньков!“ А потому Паньков, закинув голову, одной рукой держал каску,

а другую руку согнул в локте и прижал к груди и бежал так гимнастическим шагом, как на параде, полагая про себя, что бежит он лихо, по довоенному образцу, и что происшедшее печальное обстоятельство с командой очень ему на пользу, так как может выставить его перед барышнями в молодцеватом виде, и что вечером на балу несомненно многие ему станут симпатизировать; подбегая к тумбам, где стояла толпа, он приготовил улыбку, и действительно не зря приготовил, — там стояла Маруся Каприкова рядом с нахальным студентом Рабиновичем и смотрела, как бежит Паньков. „Ну вот, вот смотри, гадость, — подумал про себя Паньков, зло взглянув на Рабиновича. — Смотри, нахальная гадость, как я прыгну сейчас через проволоку!“ И, подпрыгнув, задел пяткой о тумбу, упал и каска покатилась в толпу. Буревой заорал на него от пожарных ворот: „Гавнюк, сукинов сын!“ И Паньков, не зная куда ему деться от стыда, бросился вперед, что подстреленный, забыв про каску. Каску взял студент Рабинович, с презрением повертел в руках и, наклонившись к Марусе Каприковой, язвительно сказал:

— Удивляюсь, какой это пережиток старины! За границей давно ничего подобного.

— А что же за границей, это интересно?— спросила Маруся, ерзая, приседая, дергая плечом, как белка на сучке.

— За границей, по последним сведениям, очень простой непроницаемый металл.

— Да что вы?... опять удивилась Маруся Каприкова, поправив левую бровь. — Неужели металл?

— Да, металл, и страшно легкий.

— Да что вы?... Действительно за границей интересно живут. Там, например, я недавно читала, дома строят из простой бумаги. Дешево и сердито!

Перепелкин медленно подошел к Буревому и спросил осторожно:

Иван Иваныч, что произошло?

— Ничего, я в Исполком не суюсь... я-т... Пушкин, Филимон Филимонович, не мог удержаться, чтобы не повертеться тут же рядом с начальством и не ввернуть при случае ловкое словцо, и, воспользовавшись моментом, отчетливо приложил руку к каске и ввернул-таки это самое слово.

— У нас, товарищ Перепелкин, еще не Лондон!

— Чего? — не понимая, спросил Перепелкин, изумленно взглянув на Пушкина. И только Пушкин собрался с силами, чтобы толковее разъяснить свою мысль, как Буревой, нахмурив брови, накинулся на него:

— Ты кто! Ты что!...

— Я — старший топорник.

— Марш на пожарный двор! Я тебе покажу старшого! Вот она ваша свобода, вот вам

Лондон! Пожар тушить, так это я, парады делать, так это я. А когда деньги просил на команду, так торгуйся с Бобриком. А шлеи чинить, так это я! Пусть мне теперь Бобрик шлеи чинит... Вот где он у меня сидит ваш дурацкий фин-отдел! — сказал Буревой, постучав себя по затылку, и плюнул.

Перепелкин обиделся и, махнув рукой, пошел опять через площадь к советскому крыльцу.

На пожарном дворе у линейки раскрасневшийся Пушкин что-то записывал на газетном клочке, поминутно слюнявя карандаш.

На советском крыльце все спокойно расселись по ступенькам и закурили папироски и Перепелкин что-то нашептал Ивану Афанасьевичу Бобрику — заведующему финотделом. Бобрик взволнованно сжал губы, но ничего не ответил.

„Ладно, пожарная шкура, — подумал он, — подожди до следующей сметы. Я тебе покажу твои шлеи."

* * *

Наконец, через три четверти часа упряжки были готовы. Буревой вскочил в линейку и скомандовал на весь пожарный двор:

— Приготовьсь! По местам!

Паньков под зеленым колоколом без каски задребезжал как только мог. Обоз выскочил

на площадь, девицы взрогнули, старушки перекрестились. Впереди мчался на рыжем коньке скачок и трубил из собачьего рожка. Когда лошади у бочки номер второй, испугавшись желтых перьев на шляпке у акушерки Лиличкиной, понесли прямо на толпу, студент Рабинович оробел и Маруся Каприкова в недоумении зажала нос. Буревой одной рукой придерживался за флаг на первой линейке, а другой величественно подбоченился.

Четвертая бочка на последнем аллюре у самого конца все-таки отстала, и Буревой, не выдержав, выругался.

— Таки порвали постромки, сукиновы дети, тыщу раз говорить!

Начальство сошло с крыльца. Бобрику пришлось держать знамя, он это делал очень неохотно, капризясь и поджимая губы.

Перепелкин вышел вперед. Толпа кругом обступила обоз и пожарников. Перепелкин высморкался и, шепнув Бобрику: „Иван Афанасьевич, да осторожнее вы со знаменем, чего вы вихляетесь", начал речь:

— Дорогие товарищи! Мы все признаем пожарный ужас. Все тогда пропадает. Что-ж делать? Такова стихия огня, даже у нас, в пролетарской стране. Кто же призван бороться с этим, кто же с этим борется у нас? — может быть, спросит кто-нибудь меня из присутствующих здесь граждан. Да вон они, эти незамет-

ные герои, скажу я... громко проговорил Перепелкин и показал пальцем на обоз.

Буревой опустил глаза и кашлянул, скромно зажав рот ладонью.

— Да, они... эти, на вид такие скромные трудовые люди, — продолжал Перепелкин, воодушевившись по-настоящему. — Пролетариат борется с этой природой, несмотря ни на что, несмотря ни на какие препятствия...

Буревой прищурился на Бобрика, в руках которого дрожало юбилейное знамя, и подумал: „поджимайся, гад, поджимайся, еще неизвестно кто кого подожмет"...

— А разве мало этих самых препятствий, — закричал вдруг Перепелкин, — да они сидят внутри нас...

Бобрик недовольно пожал плечами и чуть не выронил знамя, и даже наверное бы выронил, если бы тут не подвернулась любопытствующая старушка, о голову которой ударилось древко. Старушка упала, и два милиционера оттащили ее за толпу. И когда старушка очнулась, молодой милиционер сказал:

— Ты чего же это, паршивая вонючка, в обморок падаешь, из-за тебя неприятность получать!

— Да, внутри нас, — спокойно сказал Перепелкин, не заметивший переполоха. — Кто неосторожно обращается с огнем? Мы! Кто не заботится о трубах? Мы! Кто под влиянием религиозных предрассудков зажигает лампадки?...

Тут два старика — один из них любитель свиноводства, галантерейщик Прокоп Матвеич Пуговка сердито плюнул, и оба они вышли из толпы.

— А вы знаете, что эти самые лампадки, — сказал Перепелкин, — хуже пороха. Вот я вижу, что там кто-то плюется. Напрасно вы плюетесь, гражданин Пуговка! Я вам советываю почитать статистику. И ото всего этого пять лет нас защищали эти серые герои. Спасибо!

Пожарники закричали: „Ура!"

И Буревой растроганно отдал честь и принял юбилейное алое знамя. И, встав во фронт, отрапортовал:

— Обояньская добровольная пожарная команда на все эти замечательные слова товарища Перепелкина просила меня ответить по-простому, по-русскому, как в непобедимой нашей конной армии: „рады стараться".

Пожарники закричали: „Ура"!

И вот тут Филимон Филимонович Пушкин поднял руку и закричал тоже:

— Просит слова старший топорник Пушкин.

— Ши, опять выпялился! — зашипел на него Буревой и погрозил.

Но было поздно, и Пушкин, горделиво одернув брезентовую куртку, вышел из рядов.

— Я хочу развить свою мысль, — сказал Пушкин, — насчет Лондона, как давеча в частном плане развивал. В каком-нибудь Нью-

Иорке, конечно, буржуазная пожарная команда гонит на моторах. Ну, так что? А разве мы не могли бы гнать на моторах? И мы, товарищи дорогие, погонимся сейчас в гражданском плане, нога в ногу с текущим веком. Вот в чем я несогласен с отличным героем товарищем Буревым. Если за границей так ездют на буржуазные пожары, почему мы не можем так ездить на свои пожары, пролетарские...

Сзади его дергал пожарник, подосланный Буревым:

— Кончай, кончай!...

Пушкин вдруг спутался.

— И вот, товарищи дорогие, я сейчас кончу. Что же мы видим? Мы видим, что мы этого достигнем в нашем частном плане.

Пожарники опять закричали „ура“ и оркестр заиграл „Интернационал“. Обоз весело подъезжал к пожарному депо. Только в сердце Пушкина не звенели звонки, не сияла медь касок, не играл оркестр. Пушкина грызло недовольство, как крыса. Когда, приехав в депо, Буревой благодарил пожарников в строю, Пушкин презрительно фыркнул.

Никто этого не заметил, рассказывать об этом было неудобно, и тогда он фыркнул второй раз нарочно перед самым носом Буревого. Вот, мол, на тебе, как я тебя боюсь, перед самым носом в пику фыркнул тебе. А когда Буревой и этого не заметил, Пушкин тому не поверил и, ре-

шив, что Буревой прикидывается, сказал своему соседу:

— Видал?

— Что? — спросил сосед.

— Видал, как Буревой меня трусит? Ладно, ты заметь. Он меня конем, а я его прогрессом, вот тебе и будет кавалерийская армия.

И даже дома за обедом, поедая коржики с салом, долго не мог успокоиться.

— Видала? — спросил он Агапию Павловну. Но Агапия Павловна с испугом оглядывалась:

— Чего... Скажи лучше, кто это тебя так обрил? Где твои прелестнейшие усы?

— Ах, чего там усы, — с досадой отмахнулся Филимон Филимонович, — ты лучше скажи: видала?

— Да чего видала-то?...

— Как чего?... Ну, и народ! Действительно, стараешься и неизвестно, кто тебя оценит. Агапия Павловна, хотя ты-то постыдись, ведь ты четыре класса прошла.

— Ну, и что, прошла, ну, и что из этого!

— Ну, так как же, что из этого, а на параде разве ты не видала, как отбрил я Буревого?

— Вот что я тебе скажу по совести, — рассердилась как-то совсем неожиданно Агапия Павловна и стукнула кофейником по столу, да еще помогла кулаком, да еще неизвестно до чего бы дошла дальше, ежели бы из кофей-

ника, из самого продолговатого кофейничного носика не потянула тонкая струя вкусного кофейного пара. — Вот что: десять лет я с тобою живу, много было у тебя фокусов, но такого, чтобы вместо морды с утюгом жить...

— Позволь, а как же немцы, — перебил ее Филимон Филимонович.

— Что мне немцы, что ты мене морочишь,— вдруг даже в бешенстве, даже, пожалуй, в исступлении вскрикнула Агапия Павловна. — Что ты, с ума сошел? Что вы о мене думаете? Може ты думаешь, что я нонешняя обертенька, что я вертушка коммуничная. Так вы ошибаетесь жестоко. В таком состоянии я жить не буду, идите целуйтесь с вашими немками. Что ни день, то новые фокусы. То вы пожарным лоботрясите, то вы статьи печатаете и мене туфлям шаркать запрещаете, то вам подавай воротнички английского короля, то вы в бога не веруете, то мене французонкой мечтаете зробити. Тьфу, провалитесь вы с вашими французонками, я более вас не переношу! И живите вы хоть с некрещеной, даже хоть со свиньей! Купите у Пуговки свинью, пущай она вас ласкает и молчит, а я молчать отказываюсь!

— И буду! — также вскрикнул Филимон Филимонович Пушкин, вскочивши со стула и трахнув стулом об пол. — И буду, и буду, и буду, и буду, и буду жить со свиньей!

Тут Агапия Павловна накинула сак и выбежала из дому и выстрелила дверью, как солдат из ружья. Филимон Филимонович выглянул из окна. „К матери побежала. Беги, беги"... И, озлобившись, еще вдогонку прибавил: „И буду!"

Кофейник спокойно порскал паром, на столе еще стояли неубранные тарелки после борща и коржиков, зудели в стеклянном колпаке жирные июльские мухи, попавшие в мушечницу с мыльной мутной водой.

— Вот жизнь, — подумал Филимон Филимонович. — И мухи тоже живут. Ну, а как они живут...

Филимон Филимонович Пушкин, что с тобой будет?

*
* *

Что такое молодость моя? Что такое мое счастье? Молодость моя утрачена глупо. А счастье оставлено на большой дороге. Каждый проходящий может поднять эту странную котомку. И часто мне ее уже совсем не жаль. Только в вечер, в странный летний вечер, в освещенном разноцветными фонарями саду, в голубых и черных кустах, при далеком и нестройном оркестре вдруг стукнет поломанное сердце — поищи-ка там в кустах, в мраке дорожки. Я иду и знаю, что не найти.

Я иду и найду в саду и в обояньском клубе — гам и свист, в темноте блещет мне медь пожар-

ных касок, молодежь усмехнется мне в лицо, а приняв меня в свой круг, все-таки не поверит моей молодости. Да я и сам не поверю ей. Да и как мне с ними быть,— я уж не такой, как года два тому назад. Нынче мне не так звенит ни женский смех, ни утренние птицы. Вот до птиц досижу я с Филимоном Филимоновичем, осушая под звезды стаканы.

— Нет, — скажет Филимон Филимонович Пушкин,— отчего в народе разброд — я вижу это ясно. Нет нам по подходящему развитию женщины. Горько мне пить, дорогие друзья! И буду, и буду жить со свиньей. Вот нарочно куплю у Пуговки, для протесту, и буду. Тогда посмотрим, что запоет Агапия Павловна.

— Агапия Павловна — вполне прелестная женщина,— ответил Миликин, качаясь в стуле, как маятник. И подтвердил:

— И вовсе она петь не будет. Не верю! Не соловей.

— Нет, я тоже не верю вам, — поддержал и я Онисима Петровича.

— Ах, так. Ах, значит, вы мне не верите. Так вы мне не верите,— сказал Пушкин, вставая из-за стола и подняв пивную бутылку.

— Так вот нарочно в пику вам буду!

— Но зачем же в пику, Филимон Филимонович?

— Я вам покажу, я вам покажу в пику, на что я еще способен. Я всем вам в пику нос утру.

— Ну, это еще большой вопрос, кто кому пикою нос утрет. При таких разговорах, может, и мне пикою нос утрете? Мне? Я — русский человек, а не какой-нибудь... — сказал Онисим Петрович Миликин и, встав из-за стола, засучил рукав и тоже поднял пивную бутылку. Кругом зашумела публика. Забегали официанты, как тараканы. Буревой скомандовал пожарникам: „Надень каски!“ И, вынув из кармана командный свисток, засвистел.

— Готовсь!

Филимон Филимонович Пушкин вскочил на стол и закричал Буревому:

— Стой! Кто ты тут есть? Ты, чорт паршивый, опять мне рот замазывать? Эт-то что, сволочь, красный значок нацепил? Гадина! Снова царский режим? Снова рот рабочему замазывать? На! — крикнул он и выплеснул пиво в Буревого.

Пожарники бросились к столу; одна ножка у стола треснула, стол качнулся. Пушкин полетел и на-лету кинул в стену бутылкой, разбившейся вдребезги. Миликин спрятался под стол, а барышни, как воробьи, вскочили на перила балкона и прыгали вниз, в сад, роняя с ветвей цветные фонари. Балет на клубной сцене внезапно остановился, распорядитель в каске, товарищ Паньков, напрасно кричал: „Граждане, сохраняйте спокойствие!“. Маруся Каприкова в одной рубашке, — она танцовала „умирающего лебедя“, — соскочила со сцены

в зрительный зал. Звенели бутылки. Панькову проломили каску. Студент Рабинович стулом бил публику, стараясь пробраться к выходу, и какая-то старушка внизу кричала, будто ее резали перочинным ножиком: „Господи, горю, горю, господи! Угодники милосливые, горю!"... И действительно, у нее пылал подол, загоревшийся от упавшего фонаря. Дежурный милиционер схватил старуху в охапку и бросил в скошенное, ночное, от росы сырое сено. Вдоль по улице бежала голая Маруся. В суматохе, когда вся публика продиралась к выходу, с нее сорвали последнюю сорочку. За Марусей бежал студент Рабинович и кричал: „Маруся! Пожалуйста не стесняйтесь! Оденьте, пожалуйста, мой френч!" Но Маруся бежала не останавливаясь, а в нескольких шагах от нее—Рабинович.

— Ой, Маруся, вед это же, ей-богу, анахронизм — бежать голой!

Но Маруся бежала попрежнему. И косари, шедшие навстречу по улице, — было уже утро, они шли на косьбу,—расступились перед нею на обе стороны дороги. Молодые косари захохотали, а старик снял смушковую шапку и выругал молодых:

— Що вы, хлопцы, гогочите, як бисы. Може це тилько ведьма, а може цей жидок к ней подкативсь. — И на всякий случай, размахнувшись, ударил мимо пробегавшего Рабиновича по за-

тылку. Рабинович схватился за голову и из канавы закричал:

— Погром!

У клубного входа горевшая пять минут тому назад старуха стояла с обкусанным огнем и разорванным подолом и причитала и плевалась на милиционера:

— Сукиновы дети, я думала—у вас, как у читых. Праздник, дак, значит, праздник. А вот оно что значит — ваша советская власть. Сперва женщин поджигают, а потом рвут.

— Молчи ты, не воняй!... отмахнулся от нее милиционер.

— То-есть как это?—удивилась старушка.— Ты, что ли, мне юбку-то покупывал? Ты? Ты что—муж? Я просила тебе, чортов кобель, на землю мене валить и топтать?

— Да не приставай ты ко мне, вонючка старая! Я тебя так... закричал милиционер и прибавил слово высшей крепости.

Тут старушка быстренько повернулась и кубарем-кубарем покатилась к дому, всхлипывая и крестясь. А когда приплелась домой и старик, слезши с высокой кровати, зевнув, спросил ее: „а дочка-то где же, где же Манька?", старушенция еле-еле перевела дух.

— Ой, голубчик, ой, отец! До того ли было! Меня-то ведь чуть не снасиловали, да не далась. Манюшку-то, наверно, прикончили кобеля.

* * *

Филимон Филимонович Пушкин, изнемогая, еле добрался до Кремлевской площади. И найдя кучу мусора, решил присесть, а как присел, так сразу почувствовал, что ногам стало легче и сладкая истома весело бежит по телу.

— Вот и хорошо, вот и справили юбилей!— сказал Филимон Филимонович и спокойно растянулся на куче. Хотелось ему с кем-нибудь поговорить, в голове вертелась, как блоха, какая-то обида, но никого рядом не было, над глазами опустилось дикое небо, во дворах проснулись петухи и тихо гудел на серых столбах телеграф. Напротив из подворотни, выгибая круглую спину, точно кот, вылезла небольшая пестро-бурая свинья. Поглядела на зеленую вывеску: „Ленты — Галантерея — Материал.“ Поглядела на другую: „Губки — Одеколон — Мыло“. Поглядела на третью: „Тов-ство П. М. Пуговка“.

И, зевнув, оскалила белые клычки и, скрючив пестрый хвостишко, бодро побежала к мусорной куче. Не добежав три шага, испуганно замерла на месте, увидав Филимона Филимоновича. А когда Пушкин поманил ее пальцем, вдруг, хрюкнув, рассердилась и отскочила в сторону.

— Что это за мир такой, даже свинья, и та сердится! И ведь славная, ей-богу, свинья, совсем славная свинья.

Свинья же, сощурив глазки, присматривалась к Филимону Филимоновичу.

— Ну, что, хрюшка, вот нету нашей Агапии Павловны, живу я один, будто трагический человек. Ну, поди сюда. Да что ты боишься, глупая? Я разве тебя обижу?

Свинья подошла и ткнулась пятачком в руку Филимону Филимоновичу, и когда Пушкин почувствовал теплое ее дыхание, он разрыдался от нежности и почесал ей шею.

— И какая это, ей-богу, удивительно славная свинья!

И, пригревшись около свиньи, вдруг захрапел и уронил голову.

И после Филимон Филимонович Пушкин рассказывал, что никогда в жизни он не спал так крепко и хорошо, и сколько спал — сообразить не может.

Проснулся он от острой внезапной боли — будто ему отгрызли нос. Проснувшись, он сейчас же схватился за нос и вместо носа ощутил мокрое место, а пестрая свинья стремглав мчалась в огород.

*
* *

Только на второй день в городской больнице Филимон Филимонович успокоился и пришел в себя. Ему даже понравилось, что важный доктор Восков, никогда не отвечавший ему на поклоны, тут разговаривает, ухаживает за ним серьезно и степенно.

— Скажите, доктор, — спрашивал он Воскова, — имею ли я потерю трудоспособности?..

— Нет, не совсем, какая же потеря...

— То-есть как это какая потеря! — обиделся Пушкин и даже поднялся в кровати и тронул и погладил забинтованное лицо по средине — там, где по его расчетам раньше был нос.— Ведь у меня же гладкое место. Или, может быть, не совсем гладкое, может, она не успела отхватить его начисто.

— Гладкое или не гладкое, — сказал доктор, — все равно потери трудоспособности нет. Лежите смирно!

И ушел.

— Ну, и доктора! — обозлился Пушкин и показал фигу. — Если бы свинья слопала твой докторский нос, что бы ты запел. А про чужой нос легко каждому говорить.

Пушкин лежал в палате один, времени было много, и он не знал куда его девать. Сперва щупал повязку, потом надоело и это. Потом плакал.

— Господи, а еще говорят, что бога нет. Вот где бог! Может, он мне за Агапию Павловну мстит. И ведь какой хороший нос. У других какой-нибудь, прямо паршивый какой-нибудь нос: или рябой, или на сторону, или даже крючком, а то хуже картошки или копеечной пуговицы. А тут выдался такой чудный пролетарский нос, и вот на тебе — переваривается в животе у паршивой свиньи. И как это не обращают внимания на нос. Кто это законы пишет?!

За руку, даже за палец требовать можно. Ну, а что стребуешь за нос? Ведь к цирульнику, допустим, придешь. За что он держится? За нос! А как денежки получить, так нет, не лишен трудоспособности. Мало вас прохватывают, сукинов сынов!

К вечеру в палату вошла Агапия Павловна. Не дойдя до кровати и только поглядев на бинт, она поставила прямо на пол судок и заплакала, закрыв лицо шелковой косынкой.

— Что вы испугались, — ласково сказал Пушкин, — что вы испугались, дорогая Агапия Павловна! Раздевайтесь, пожалуйста.

— Агапия Павловна подошла к кровати и поцеловала Филимона Филимоновича в лоб. И поклонилась.

— Простите меня, Филимон Филимонович, может, все это произрождается от глупых слов. Вот я постного борщичку вам сготовила, простите меня!

— Да что вы, Агапия Павловна, какие это странные вещи вы говорите, даже непохоже, что вы четыре класса прошли.

Но самому было как-то приятно, и как-то сладостно щекотало глаза, и очень жалко плакавшую Агапию Павловну, и покрасневший и нечистый нос Агапии Павловны показался ему страшно трогательным: он не выдержал и обнял жену. „Все-таки ничего, нос приятный и с выражением“...

— Не беспокойтесь, Агапия Павловна!—сказал он. — Право, не беспокойтесь; ежели там мало осталось, нынче прирождают новые носы.

— Неужели прирождают? И вам можно прирродить?

— А отчего нельзя? В Москве такие штучки делаются даже страшно быстро. Ну, разворачивайте, Агапия Павловна. Что это вы там такое нанесли? Я, по правде сказать, проголодался на казенном пайке.

— Принесла я вам, Филимон Филимонович, борщичку. Удачный очень борщок, и бобы очень славные. Ну, а как же у вас операция? Вот еще кнышей. Попробуйте-ка эти кнышики. Интересно, как вам понравится.

Хлопотала около кровати Агапия Павловна, суетясь и вытаскивая будто из рога изобилия то кныши, да еще разные выпеченные открыто или в виде конверта, а то и сердечком. А за кнышами шли маринованные помидоры, а за помидорами — ватрушки с поджаренной корочкой из кислого творогу.

— Господи, а перчику, что-ж я вам перчику-то не предложу. Ведь специально натолкла его с корицей.

Филимон Филимонович только головою качал, да удивлялся, да еле успевал уписывать и перчик, и ватрушки, и кныши, обмакивая их предварительно в борщ, а потом отправлял блаженно в рот, и за кнышем, отправив туда же

ароматную и масляную ложку борща, замерев почти в сладострастной истоме, крякал.

— Нет, Агапия Павловна, вы не женщина, вы — волшебный элемент!

Филимон Филимонович чувствовал, как быстро вырастают у него в сердце, точно нежная рассада, чистота и мир, а смущение Агапии Павловны доставляло ему большое удовольствие, и легкое кружение в голове указывало на то, что в жизни, что бы ни случилось, а и это имеет свою приятность. Ему даже захотелось немножко пошутить, покуражиться, и он ласково спросил Агапию Павловну, напоминая ей о ссоре, сейчас казавшейся где-то далеко-далеко, будто в тридесятом царстве произошла вся эта непонятная история.

— Что же, Агапия Павловна, намереваетесь ли вы продолжать нашу семейную жизнь?

— Не обижайте меня, Филимоша, я не гадкая француженка! — сказала Агапия Павловна с укором и, встрепенувшись, обняла Филимона Филимоновича за плечи. — И не какая-нибудь поганая китайка... Разве носом выполняется женское счастье?!...

— Плутовка вы, Агапочка! Дайте я вас поцелую.

В это время по коридору звенела звонком сиделка, обозначавшим конец приема посетителей, и пока Агапия Павловна собирала в узел свои пожитки, Филимон Филимонович решил поговорить и о серьезном.

— Ты знаешь, Агапочка. Думается мне, что в моем деле есть месть.

— Да бог с вами, из-за чего же вам мстить! Кальсончики не забудьте чистые...

Филимон Филимонович загадочно улыбнулся.

— Кальсоны я надену без вас. А насчет мести, как кому. А Буревой! Не думаешь ли ты, что он простил мне мое выступление?

— Ну, ведь не Буревой же откусил вам нос.

— Сразу видно, Агапочка, что ты — женщина. Зачем же Буревой будет кусаться сам, когда можно подкупить научную японскую свинью.

— Ой, свинью, да зачем же непременно свинью!

— Ой, напрасно, напрасно... Зачем свинью? Плохо вы разбираетесь в фактах. Именно в таком деле надо свинью,—загадочно сказал Пушкин и погрозил кулаком. Но тут вошла сиделка, и нашим героям пришлось расстаться.

*
* *

Более безмятежную и благодатную ночь трудно себе представить. Очень спокойно Филимон Филимонович проспал до утра, а утром, дожидаясь, пока придет Агапия Павловна со свежим заваренным кофеем, занялся самим собой, передумывая и вкривь и вкось все обстоятельства третьего дня. Через час все обстоятельства были проверены и взвешены,

и думать было больше нечего. И тогда Филимон Филимонович вызвал сиделку и строго спросил у нее кусок бумаги и карандаш.

— Зачем же вам бумага? — удивилась рябая сиделка. У сиделки была гладкая черная головка с радужными пуговицами вместо глаз.

— Мне надо кое-что записать.

— Что-й-то такое записать... У нас больные не записывают.

— Сейчас же иди, кобра вонючая! Мне надо в центральные газеты статью писать. И купи еще десяток папирос.

Испугавшись, сиделка пошла к дежурному фельдшеру. Фельдшер, покопав спросонья в грязной голове, решил:

— Не стоит с дерьмом связываться, как бы еще нас не промахнул.

И когда все было принесено, Филимон Филимонович, предварительно выкурив три штуки папирос, торжественно принялся за обдумывание заглавия. Слюнявил карандаш, отчего потекли по щекам лиловые пятна, грозился, пел. И за ним в щелку двери подглядывала взволнованная сиделка, подосланная дежурным фельдшером.

— Так! — воскликнул в восторге Пушкин.— Заглавие будет: „Пушкин и японская свинья"!

И все примаргивал, щурился, шипел, пока не подошел к концу, пока все обстоятельства дела — летнего дня, парада на базарной пло-

щади, поведения Буревого, юбилейного вечера в клубе, где старший топорник Пушкин вел себя, как „древний римский герой", — не были изложены.

— И вот—финал. Я нынче подведу вам кузькину мать!

И сбоку на полях бумаги приписал: „Желательно финал напечатать жирным шрифтом, ежели редакция не против".

И, причмокнув, прочитал, глядя в дверь, в замочную скважину, как казалось сиделке, прямо в упор к ней, в ее глаза, отчего она чуть не лишилась чувств.

„Что это: японская свинья или где зарыта собака? Довольно замазывали рот, — собака зарыта в начальнике пожарной команды, в этом изжитом наследии царского прошлого. Пора одернуть зарвавшихся".

И, упав на подушки, изнеможенно почувствовал, — ну, точно он — чайник, — точно все восторги мира, даруемые творчеством, неукротимо кипят у него в груди. Если вам, читатель, случалось когда-нибудь заниматься стишками или прозаическими сочинениями, то вам, несомненно, знакомо это чувство, и Филимон Филимонович, напомнив вам ваши досуги или младенческие лета, заслужит вашу улыбку. А, может быть, и не так! Может, вас интересует общественная жизнь, может быть, вас тоже ожидает юбилей, или вы сами полные

дружеских чувств организуете юбилей какому-нибудь своему закадычному приятелю,—тогда, конечно, судьба Пушкина мало вас забавляет, наоборот,— вы можете даже обидеться: не намекаю ли я на какие-либо особые обстоятельства, не подпускаю ли, мол, кого-либо пфефферу под социальные устои. Нет, нет, пусть мне помереть, пусть попасть мне в какое-нибудь непромокаемое место, ежели я тайно замыслил что-либо подобное. Нет, нет, повесть моя — только о летнем праздничном дне в Обояни.

Л
26-2
2-50
008113630.

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА

БЕГЕМОТ

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

№ 1. **И. Ломакин.** Чужая шкура.
№ 2. **М. Зощенко.** Кризис.
№ 3. **Свэн.** Шахматн. турнир.
№ 4. **А. Григорович.** Скуки ради.
№ 5-6. **М. Зощенко.** Рассказы Назара Синебрюхова.
№ 7. **Ал. Григорович** и **Свэн.** Чудо на Сырых Болотах (сатирическая хроника).
№ 8. **К. Мазовский.** Кусок жизни.
№ 9. **С. Томский.** По народным судам.
№ 10. **Мих. Козырев.** Рассказы.
№ 11. **Э. Гард.** Заметки судебного репортера.
№ 12. **Свэн.** Совет дервиша.
№ 13. **М. Зощенко.** Рассказы.
№ 14. **Пант. Романов.** Избранные рассказы.
№ 15. **В. Черний.** Даешь шпану!
№ 16. **В. Лебедев (Кумач.** Защитный цвет.
№ 17. **В. Тоболяков.** Помпа
№ 18. **Вяч. Шишков.** Кольцо.
№ 19. **Б. Левин.** Рассказы
№ 20. **А. Архангельский.** Коммунистическ. Пинкертон.
№ 21. **И. Свэн.** Сын Чичерина.
№ 22. **В. Ардов.** Тайна старого кооператива.
№ 23. **Н. Никитин.** Юбилей.

ПЕЧАТАЮТСЯ:

№ 24. **М. Зощенко.** Новые рассказы.
№ 25. **А. д'Актиль.** Синяк под глазом.

Цена отдельного выпуска 10 коп.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ВМЕСТЕ С ЖУРНАЛОМ

БЕГЕМОТ

На 1 мес.	— р. 95 к.	На 6 мес.	5 р. 35 к.
„ 3 „	2 „ 75 „	„ 12 „	10 „ — „

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

В ЛЕНИНГРАДЕ — в Гл. Конторе „КРАСНОЙ ГАЗЕТЫ" — ФОНТАНКА, 57. В отделении Гл. Конторы — ПРОСПЕКТ 25 ОКТЯБРЯ, 68. В Конторе „СЕВПЕЧАТИ" — ПРОСПЕКТ 25 ОКТЯБРЯ, 1, и во всех почтовых конторах СССР.

8

Цена 10 к.